

УДК 821.161.1.09"19"

Ю. В. Лебедев

Костромской государственной университет
y-v-lebedev@ya.ru

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И «ТОЛСТОВСТВО»

В статье показаны постоянные выходы Толстого-художника за пределы «толстовства», демонстрирующие ограниченность его религиозно-философских убеждений.

Ключевые слова: мысль семейная, духовный кризис, Толстой писатель и Толстой философ и публицист.

Yuriy V. Lebedev

Kostroma State University
y-v-lebedev@ya.ru

LEO TOLSTOY AND TOLSTOYISM

The article shows the constant exits of Tolstoy the artist beyond the limits of "Tolstoyism", demonstrating the limitations of his religious and philosophical beliefs.

Keywords: family thought, spiritual crisis, Tolstoy the writer and Tolstoy philosopher and publicist.

1

«Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нём главную, основную мысль, – говорил Толстой. – Так в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную, в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года...» [3, с. 37]. Но ведь семейная тема пронизывает от начала до конца и «Войну и мир». Существенную роль здесь играет поэзия семейных гнёзд Ростовых и Болконских, торжеством семейных начал завершается эпилог. Говоря о ключевой роли «мысли семейной» в «Анне Карениной», Толстой, очевидно, имел в виду какое-то новое звучание её в этом романе.

Лучшие герои «Войны и мира» хранят в семейных отношениях такие нравственные ценности, которые в минуту общенациональной опасности спасают Россию. Вспомним атмосферу родственного, «как бы семейного» единения, в которой оказался Пьер на батарее Раевского, вспомним русскую пляску Наташи и общее всем – дворовым и господам – чувство, вызванное ею. «Семейное» тут входит в «народное», сливается с ним, является глубинной основой «мысли народной», за которой скрывается «мысль христианская».

В «Анне Карениной» всё иначе. Роман открывается фразой о «счастливых семьях», которые «похожи друг на друга». Но интерес Толстого теперь в другом: «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Всё смешалось в доме Облонских» [8, с. 7]. Не в родственном единении между людьми пафос нового романа, а в разобщении между ними, в распаде семьи. Семейная драма между супругами Облонскими – Стивой и Долли – отзывается на судьбах многих людей, живущих под крышей их дома. Исчезли духовные связи, скреплявшие семью, и все люди Облонских почувствовали себя как «на постоялом дворе».

Что же является причиной семейной драмы? Вспомним сон Облонского на третий день после его ссоры с женой: «“Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: *Il mio tesoro (Моё сокровище (итал.))* и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины”, – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. “Да, хорошо было, очень хорошо. Много ещё что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь”» [8, с. 7–8].

Женщины в этом сне приравнены к маленьким графинчикам, отношения с ними исчерпываются чувственными наслаждениями. Взгляды Стивы на семью отличаются скептицизмом,

обычным в глазах либерально мыслящих людей его круга: «Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре.

Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело» [8, 13–14].

В отличие от Стивы его сестра Анна не чуждается «высокопарных» слов, но толку от них нет никакого: «Она постоянно повторяла “Боже мой! Боже мой!” Но ни “Боже”, ни “мой” не имели для неё никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для неё, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперёд, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для неё весь смысл жизни» [8, с. 318].

Алексей Вронский тоже «никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе» [8, с. 67].

«В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твёрдым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, весёлым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться» [8, с. 129].

Мир, в котором живёт Анна, сравнивается Толстым с эпохой Рима времён упадка. Заражённый страстью к зрелищам и чувственным удовольствиям, он ненасытно требует для себя новых и новых острых ощущений. Таким жестоким зрелищем являются скачки, на которых присутствуют «государь» и «весь двор» – возбуждённая предстоящим торжеством праздная толпа. Во время скачек из семнадцати человек попадало и разбилось более половины. Одна из светских дам произносит при этом знаменательную фразу: «Волнует, но нельзя оторваться. Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка» [8, с. 231]. Скачки с их соперничеством и катастрофическим движением по замкнутому кругу – символ современной цивилизации, сползающей в своей безумной круговерти на бездуховные, плотские пути.

Левин говорит Стиве Облонскому за обедом в фешенебельном ресторане: «Мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать своё дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы... “Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение”» [8, с. 45]. Погоня за наслаждениями с жадными, голодными глазами, дурная бесконечность увеличения количества этих наслаждений – вот смысл жизни светского общества, к которому принадлежит Анна.

От дома Облонских, в котором «всё смешалось», мысль Толстого обращается к России, в которой «всё перевернулось и только ещё укладывается». «Развод» и «сиротство», крушение некогда устойчивых духовных связей – ведущая тема «Анны Карениной». На смену эпосу «Войны и мира» в русский роман 1870-х годов настойчиво вторгаются драматические, трагедийные начала.

Анна сталкивается с тем, что уходя от государственного чиновника Каренина, принимающего за жизнь лишь бледные отражения её, она сталкивается с человеческой нечуткостью аристократа Вронского, остающегося дилетантом и в живописи, и в хозяйственных начинаниях, и в любви.

Однако дело не только в этих внешних обстоятельствах, подавляющих живое чувство Анны. Само это чувство изнутри разрушительно и обречено. Уже в момент своего пробуждения оно принимает демонический характер. «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своём простом чёрном платье, прелестны были её полные руки с браслетами, прелестна твёрдая шея с ниткой жемчуга, прелестны выющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные лёгкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в её прелести. “Да, что-то ужасное, бесовское и прелестное есть в ней”, – сказала себе Кити» [8, с. 95–96]. Совершенно очевидно, что Толстой в соответствии с православным вероучением говорит здесь о «прелести», о мнимой красоте, о высшей и очень тонкой форме лести самому себе, о самообмане, мечтательности, гордыне...

Неслучайно первое объяснение Вронского с Анной сопровождается разрушительной метельной стихией в Бологом. «Страшная буря рвалась и свистела между колёсами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, всё, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось всё больше и больше. На мгновение буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под её ногами, и послышались стуки молотка по железу. “Депешу дай!” – раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. “Сюда пожалуйста! № 28!” – кричали ещё разные голоса, и, занесённые снегом, пробежали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнём папирос во рту прошли мимо её. Она вздохнула ещё раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как ещё человек в военном пальто подле неё самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. <...>

– Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на её лице.

– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе.

И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей ещё более прекрасен теперь» [8, с. 116–117].

Любовь Анны уже в самом начале напоминает сжигающую всё высокое её содержание чувственную страсть. «Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо её блестело ярким блеском; но блеск этот был не весёлый – он напоминал страшный блеск пожара среди тёмной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. <...> Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала её» [8, с. 162]. Эта невидимая сила определяется Толстым как дьявольский «дух лжи и обмана» [8, с. 166], который овладел Анной с первых шагов её неверности мужу.

Купаясь в лихорадочно-жадной, испепеляющей страсти к Вронскому, Анна оставляет с Серёжей свои материнские чувства. В отношении с Вронским не входит добрая половина её души, остающаяся в прошлом, в бывшей семье Анны и Каренина. «Горе её было тем сильнее, – пишет Толстой, – что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им

с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной её несчастья, вопрос о свидании её с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины её страдания; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него всё, что касалось сына» [9, с. 110].

В критике часто высказывалась мысль о жестокости Каренина, его называли грубым тираном, на каждом шагу оскорбляющим свою жену. При этом ссылались на слова Анны о Каренине как «министерской машине». Но ведь во всех упрёках, бросаемых Анной своему мужу, есть субъективное раздражение. Это раздражение настолько сильно, что чуткая Анна изменяет самой себе: ослеплённая любовной страстью к Вронскому, она не замечает всей глубины переживаний Каренина.

Раздражительность Анны говорит и о каких-то добрых чувствах к брошенному мужу. В преувеличенно резких суждениях о нём есть попытка тайного самооправдания. В полубреду, на пороге смерти Анна проговаривается о теплящемся в глубине её души сочувствии к Каренину: «Его глаза, надо знать, – говорит она, обращаясь к Вронскому, – у Серёжи точно такие, и я их видеть не могу от этого...» [8, с. 452]

В материнское чувство Анны входит не только любовь к Серёже, но и духовное влечение к Каренину как отцу любимого сына. Ложь её в отношениях с Карениным и в том, что она живёт с ним без любви, и в том, что, порывая с ним, не может быть совсем равнодушной к нему, как мать к отцу своего ребёнка.

Душа Анны трагически раздваивается между Карениным и Вронским. «Не удивляйся на меня. Я всё та же... – говорит Анна в горячем бреду, обращаясь к Каренину. – Но во мне есть другая, я её боюсь – она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде» [8, с. 452].

Всем содержанием романа Толстой доказывает великую правду евангельского завета о таинстве брака, о святости брачных уз. Драматична безлюбовная семья, где приглушены или вообще отсутствуют чувственные связи между супругами. Но не менее драматичен и разрыв семьи. Для чуткого человека он неизбежно влечёт за собой возмездие. Вот почему в любви к Вронскому Анна испытывает нарастающее ощущение непростительности своего «счастья». Жизнь с неумолимой логикой приводит героев к уродливой однобокости их чувств.

Эта однобокость особо оттеняется отношениями Левина и Кити: «Когда они пошли пешком вперёд других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зёрнами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала её к себе». И Левин «наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о её беременности ни на минуту не покидала его, то, ещё новое для него и радостное, *совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине*» [9, с. 139. – Курсив мой. – Ю. Л.].

Именно такого, свободного от чувственности, *духовного* единения нет между Анной и Вронским. Но без него невозможна ни дружная семья, ни супружеская любовь. Желание Вронского иметь детей Анна начинает объяснять тем, что «он не дорожил её красотой». В беседе с Долли Анна цинично заявляет: «...“Чем я поддерживаю его любовь? Вот этим?” Она вытянула белые руки перед животом» [9, с. 224].

Пытаясь всеми силами удержать угасающую страсть Вронского, Анна сознательно возбуждает в нём ревнивые чувства. «Бессознательно в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам Анна делала всё возможное, чтобы возбудить в них чувство любви к себе» [9, с. 294]. Отношения Анны и Вронского неумолимо катятся к трагическому концу.

Перед смертью она произносит приговор своему чувству: «Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим». «Ну, я получу развод и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так

смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Серёжа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мной и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет! – ответила она себе теперь без малейшего колебания. – Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, он моё, и переделать ни его, ни меня нельзя» [9, с. 359].

В высшем свете, где живёт Анна, да и в самой Анне, ценности, связывающие людей духовной общностью, расшатаны. А без них спасти личность от разрушения не может ничто, даже любовь, которая в холодеющем мире вырождается в губительную чувственную страсть. На потребу неутолимому чувственному голоду здесь бросается всё: «Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, чего он желал так долго, не был вполне счастлив... Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания... Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолётный каприз, принимая его за желание и цель... И как голодное животное хватается всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нём пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины» [9, с. 37].

Неслучайно грозным предостережением Анне и Вронскому является им во сне русский мужик, копающийся в куче железа и бормочущий французские фразы. Вронский «проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажёл свечу. “Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, – сказал он себе. – Но отчего же это было так ужасно?” Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине» [8, с. 391].

И сразу же вслед за этим кошмаром Анна говорит Вронскому:

«– ...Я видела сон.

– Сон? – повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне.

– Да, сон, – сказала она. – Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, – говорила она, с ужасом широко открывая глаза, – и в спальне, в углу, стоит что-то. <...> И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там... Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на её лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.

– Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: “Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...” (Надо ковать железо, толочь его, мять... (франц.)) И я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: “Родами, родами умрёте, родами, матушка...” И я проснулась...

– Какой вздор, какой вздор! – говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе» [8, с. 397–398].

Народная жизнь и христианская нравственность чужды в основах своего образу жизни «верхов». Мужик, бормочущий французские фразы – страшный символ этого разрыва. Неспроста и кучеру Левина «скучно что-то показалось» в роскошном имении Анны и Вронского. Гибель Анны – следствие глубокого распада духовных связей, следствие тупика, в который заходит современная цивилизация.

«“Боже мой, куда мне?” – всё дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и гово-

рившие, замолкли, оглядывая её, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять.

И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, лёгким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо её проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колёса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колёсами и ту минуту, когда середина эта будет против неё.

“Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя”.

Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал её, и было уже поздно: середина миновала её. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило её, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе её целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для неё всё, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми её светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колёс подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колёсами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и лёгким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. “Где я? Что я делаю? Зачем?” Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло её в голову и потащило за спину. “Господи, прости мне всё!” – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. *Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом.* И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей всё то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла» [9, с. 363–364. – Курсив мой. – Ю. Л.].

2

Поиском иных, высоких и спасительных ценностей жизни занят второй герой романа, Константин Левин. Он предан деревне, земледельческому труду как первооснове существования. Взгляд Левина-земледельца остро схватывает извращённость потребностей и искусственность образа жизни дворянских верхов. Спасение от лжи современной цивилизации Левин видит не в реформах, не в революциях, а в нравственном возрождении человечества, которое должно повернуть жизнь с языческих на истинно христианские пути.

Первое семя такого возрождения забросил в душу Левина старичок-священник, у которого он перед венчанием был на исповеди:

«– Я во всём сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога, – невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.

– Какие же могут быть сомнения в существовании Бога? – с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он.

Левин молчал.

– Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творения Его? – продолжал священник быстрым, привычным говором. – Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облёк землю в красоту её? Как же без Творца? – сказал он, вопросительно взглянув на Левина. <...>

– Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? – сказал он с кроткою укоризной. – Если вы любите своё чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: “Папаша! кто сотворил всё, что прельщает меня в этом мире, – землю, воды, солнце, цветы, травы?” Неужели вы скажете ему: “Я не знаю”? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: “Что ждёт меня в загробной жизни?” Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! – сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами. <...>

Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить.

“Разумеется, не теперь, – думал Левин, – но когда-нибудь после”. Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других...» [9, с. 10–11]

Во время посещения старца Амвросия в Оптиной пустыни Толстой не без гордости общал одному из знакомых: «...А вот сегодня мне отец Амвросий рассказал, что у него был какой-то человек и просил его принять в монастырь. На него, говорил этот человек, очень сильное впечатление произвёл мой рассказ об этой исповеди. Отец Амвросий, конечно, сам не читал “Анны Карениной” и спрашивал меня, где это я так хорошо написал про исповедь. Я в самом деле думаю, что написал хорошо» [4, с. 242].

Левин долго бьётся над загадкой гармонической уравновешенности и одухотворенной красоты трудящегося на земле крестьянина. Он долго не понимает, почему все его хозяйственные начинания встречаются мужиками с недоверием и терпят крах. И только в конце романа Левин совершает радостное открытие: его неудачи, оказывается, были связаны с тем, что он не учитывал духовные побуждения, которыми вдохновляется крестьянский быт и крестьянский труд. Общение Левина с подавальщиком Фёдором, беседа с ним завершают мировоззренческий переворот в душе героя: «Проработав до обеда мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из риги и разговорился, остановившись подле сложенного на току для семян аккуратного жёлтого скирда жатой ржи.

Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику внаймы.

Левин разговорился с подавальщиком Фёдором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни.

– Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитрич, – отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи.

– Да как же Кириллов выручает?

– Митюхе (так презрительно назвал мужик дворника), Константин Дмитрич, как не выручить! Этот нажмёт, да своё выберет. Он хрестьянина не пожалеет. А дядя Фоканыч (так он звал старика Платона) разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Ан и не доберёт. Тоже человеком.

– Да зачем же он будет спускать?

– Да так, значит – люди разные; один человек только для нужды своей живёт, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч – правдивый старик. Он для души живёт. Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живёт? – почти вскрикнул Левин.

– Известно как, по правде, по-Божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека...»

Слова Фёдора пробуждают целую бурю в душе Левина: «Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечёт, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Фёдора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашёл их глупыми, неясными, неточными?»

Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны... Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь даёт мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина» [9, с. 392–393].

3

После «Анны Карениной» в целой серии философских работ Толстой излагает парадоксально понятное им христианское вероучение. Это «Исповедь», «Так что же нам делать?», «Критика догматического богословия», «Царство Божие внутри вас», «В чем моя вера?», «О жизни», «Не могу молчать» и др. В этих работах Толстой берёт из Евангелия только нравственные заповеди Спасителя, считая воскресение и вознесение Христа мифом и вымыслом древних народов.

Но если Христос не Богочеловек, а великий учитель нравственности, подобный самому Толстому, то и церковь с её таинствами теряет всякий смысл. И Толстой приходит к полному отрицанию церкви, вызывая в 1901 году решение Святейшего Синода об его отлучении.

Толстовцы абсолютизировали религиозно-философские статьи своего кумира. Они превратили его в основателя новой веры. Но Толстой, по справедливому замечанию С. Н. Булгакова, был не основателем, а религиозным искателем. Ему было дано знать тревогу исканий гораздо больше, нежели покой и радость религиозной жизни: «Он сам никогда не смог успокоиться и установиться на своём учении, но постоянно выходил за его узкие рамки. Сам Толстой не вмещался в толстовство, в которое хотели загнать его прямолинейные фанатики его доктрины. Оно было для него временной формой успокоения, камнем под изголовьем, условным символом веры, сам же он продолжал жить во всю ширь своей личности и со всеми его противоречиями, как Толстой, а не как толстовец. Никогда не надо забывать, что в нём, кроме догматического вероучителя, жил прозорливец искусства, томился огненный дух, вечно мечущийся, вечно вопрошающий» [1, с. 7–9].

Впавший в ересь «вероучитель» не перестаёт быть великим «художником», способным к постоянному духовному росту и неожиданным переменам. Своё вероучение он не возводит в непреложный догмат, как это делают его ученики. Именно потому и в последнем романе «Воскресение» Толстой оказывается крайне неоднозначным. С одной стороны, он даёт кощунственное описание богослужения в тюремной церкви, а с другой, создаёт поэтическую картину пасхальной службы: «Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи» [7, с. 59–60].

В художественных произведениях Толстой постоянно выходил за пределы своего «толстовства». Н. Н. Страхов писал ему в ноябре 1875 года: «Вы не моралист, Вы истинный художник <...> Может быть, я скажу Вам то, что Вы сами не осознаёте. Отвлечённые нравственные правила всегда узки и односторонни, и в Ваших созданиях выражается гораздо больше, чем кто-нибудь, даже Вы сами, сможете формулировать отвлечённым языком» [5, с. 355].

Когда после духовного перелома Толстой обратился к религиозно-философским писаниям, он на собственном опыте пережил непреодолимый конфликт между литературной, художественной, и отвлечённой, философской, мыслью. 2 марта 1891 года Софья Андреевна Толстая записала в своём дневнике: «...Лёвочка грустен, я спросила: “Почему?” Он говорит: “Не идёт писание...” – “О чём?” – “О непротивлении”. Ещё бы шло! Этот вопрос всем и ему самому оскомину набил, и перевернут и обсуждён он уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы, а приступить трудно. Там *резонёрство* уже не годится. Как пойдёт из него поток правдивого, художественного творчества, – он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно, вот и страшно его пустить, а душа тоскует!» [6, с. 159].

О том, что не религиозно-философские трактаты Толстого, а его художественное мироощущение в своём радостном жизнелюбии идёт навстречу Православию тонко почувствовал Владимир Сергеевич Соловьёв. В специальном письме, обращённом к Толстому 2 августа 1894 года, он убеждал, что все произведения писателя, вопреки его религиозно-философским трактатам, доказывают непреложную истину Христова воскресения:

«1) Вы допускаете, что наш мир прогрессивно видоизменяется, переходя от низших форм и степеней бытия к высшим или более совершенным. 2) Вы признаёте взаимодействие между внутренней, духовною жизнью и низшею, физическою, и 3) на почве этого взаимодействия вы признаёте, что совершенство духовного существа выражается в том, что его собственная духовная жизнь подчиняет себе его физическую жизнь, овладевает ею.

Исходя из этих трех пунктов, я думаю, необходимо придти к истине воскресения. Дело в том, что духовная сила по отношению к материальному существованию не есть величина постоянная, а возрастающая. В мире животном она вообще находится лишь в скрытом, потенциальном состоянии; в человечестве она освобождается и становится явной. Но это освобождение совершается сначала лишь идеально в форме разумного сознания: я различаю себя от своей животной природы, сознаю свою внутреннюю независимость от неё и превосходство перед нею. Но может ли это *сознание* перейти в *дело*. Не только может, но отчасти и переходит. Как в мире животном мы находим некоторые зачатки или проблески разумной жизни, так в человечестве несомненно существуют зачатки того высшего совершенного состояния, в котором дух действительно, фактически овладевает материальною жизнью. Он борется с тёмными стремлениями материальной природы и покоряет их себе (а не различает только себя от них). От степени внутреннего духовного совершенства зависит большая или меньшая полнота этой победы. Крайнее торжество враждебного материального начала есть смерть, то есть освобождение хаотической жизни материальных частей с разрушением их разумной, целесообразной связи. Смерть есть явная победа бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом. Особенно это ясно относительно живых существ высшего порядка. Смерть человека есть уничтожение совершенного организма, то есть целесообразной формы и орудия высшей разумной жизни. Такая победа низшего над высшим, такое обезоружение духовного начала показывает, очевидно, недостаточность его силы. Но ведь эта сила *возрастает*. Для человека бессмертие есть то же, что для животного – разум; смысл животного царства есть животное разумное, то есть человек. Смысл человечества есть *бессмертный*, то есть Христос. Как животный мир тяготеет к разуму, так человечество тяготеет к бессмертию» [2, с. 241–242].

В. С. Соловьёв пронизательно почувствовал, что искусство Толстого, вопреки его религиозно-философским постулатам, нисколько не враждебно христианству, а, напротив, исподволь служит ему и утверждает его.

4

Роман «Воскресение» печатался в популярном журнале «Нива» в 1899 году, на самом рубеже двух веков. Он открывается описанием городской весны: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли её, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и берёзы, тополи, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопающиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнёзда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священо и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для *блага* всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священо и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом» [7, с. 7–8].

Как изменился в финале творческого пути голос Толстого! Это голос судьи и пророка, голос человека, познавшего истину. Картина весны символична. Это суд над цивилизацией, мертвящей всё живое, загоняющей в бездушные, стандартные формы живую жизнь, угрожающей уничтожением природе и человеку.

В чём видит Толстой главные беды такой цивилизации? Прежде всего, в чувстве стадности, в утрате человеком духовных забот. Почему князь Дмитрий Нехлюдов соблазнил воспитанницу в доме своих тёток, Катюшу Маслову, а потом её бросил? Потому, что «он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного “я”, ищущего лёгких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, всё уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного “я”» [7, с. 53].

Вспомним, как говорит Толстой об утре Нехлюдова: «В то время когда Маслова, измененная длинным переходом, проходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник её воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил её, лежал ещё на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу» [7, с. 16]. О чём говорят его «гладкие белые ноги», «полные плечи», «отпущенные ногти», «толстая шея», «мускулистое, обложившееся жиром белое тело»? Все штрихи к портрету Нехлюдова подчеркивают принадлежность героя к касте господ. Личности нет: она расплылась, растворилась в теле целого барского сословия. Если в «Войне и мире» Толстой искал в человеке неповторимые признаки «особого существа», отличающегося от других, то теперь ему бросаются в глаза иные, стадные черты. В «Воскресении» проходят перед читателем генералы, министры, судьи, адвокаты. И все они являются феноменами одного бездуховного и обезличенного существа, жадного, грубого, эгоистичного.

Но Толстой неспроста назвал свой роман «Воскресение». Он верил, что люди собственными усилиями могут изменить себя и окружающий мир. Считая человека творением Божи-

им, близким к совершенству, он полагал, что морально-нравственный закон Христа человек может исполнять самовольно, не нуждаясь в церковной Благодати и таинстве Евхаристии. Толстому казалось, что люди способны преодолеть социальную дисгармонию легко, разумным исполнением христианских заповедей.

Толстого сближает с Достоевским вера в возможность достижения гармонии путём преобразования человека. Но суть этого преобразования, равно как и движущие силы его, писатели понимают по-разному. Надежды Достоевского связаны с упованием на будущее тысячелетнее Царство Иисуса Христа с воскресшими праведниками на преображённой земле. Он возлагает надежду на Божественное вмешательство в судьбы человечества, полагая, что люди нуждаются в Его Благодатной поддержке. «Мировая гармония» Достоевского в корне отличается от исторического оптимизма Толстого. Она предполагает не только моральное усовершенствование, но и телесно-духовное преобразование человека, обретающего с благодатной помощью Божией вечную жизнь и бессмертие.

Толстой убеждён, напротив, что Нехлюдов не нуждается в такой помощи. Он считает, что божественное начало прочно укоренено в природе человека: «Царство Божие внутри вас». Толстой говорит о Нехлюдове: «Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чём он просил, уже совершилось. Бог, живший в нём, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал всё могущество добра. Всё, всё самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать» [7, с. 109]. Толстому хочется доказать, что в душе Нехлюдова, ощутившего в своей душе Бога, свершилось торжество духовных начал. Его усовершенствование не нуждается в благодатной поддержке и движется к оптимистическому финалу.

Однако художественная реальность требует от автора жизненной правды. И Толстой изменить этой правде не может. Вот его Нехлюдов в Кузминском решает отдать всю землю по недорогой цене крестьянам. Замечательно! Но, даже с Богом в душе, «ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубятся, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров... Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но и земли и половины дохода, который мог так понадобиться теперь» [7, с. 210].

Вот Нехлюдов решает порвать со светской жизнью и отправиться по этапу вслед за Катюшей. Но тут же возникают сомнения в правомерности такого решения: «В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лёг в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть... “Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?” – спросил он себя. И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределённые» [7, с. 298].

Дальше – больше! Нехлюдов получает известие о помиловании Катюши. «Известие было радостное и важное: случилось всё то, чего Нехлюдов мог желать для Катюши, да и для себя самого» [7, с. 438]. Но это известие почему-то не приносит ему радости и счастья. Он едет в острог сообщить Катюше о помиловании «с тяжёлым чувством исполнения неприятного долга» [7, с. 444].

Почему это произошло? Вспомним, что на обеде у генерала, объявившем о помиловании, «Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и лёгкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто всё то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности» [7, с. 440].

Получается, что Нехлюдов, почувствовав в себе Бога и осознав себя богом, с большим трудом «самосовершенствуется», но так и не достигает желанного «воскресения». Религи-

озная доктрина Толстого не получает органического воплощения в художественном мире романа, обнаруживая свою ограниченность и нежизнеспособность.

В ночь с 27 на 28 октября 1910 года Толстой тайно покинул Ясную Поляну в сопровождении преданной ему дочери Александры Львовны и доктора Душана Маковицкого. Что привело его сперва к скитским воротам Оптиной пустыни, войти в которые он не решился? Почему он захотел всё-таки обосноваться рядом с Оптиной, в Шамордине, и снять комнатку неподалёку от кельи своей сестры Марии Николаевны, монахини женского монастыря? На эти вопросы мы не найдём ответа. Пришла весть, что толстовцы знают о месте его нахождения, и Толстой решил бежать далее. Ему хотелось выскользнуть из того облака, который он сам создал и которое его окружало. Но тут Бог сжалился и прекратил его страдания. В дороге он заболел воспалением лёгких. Пришлось сойти с поезда и остановиться на станции Астапово Рязанской железной дороги. Прибывшие в Астапово «толстовцы» прекратили доступ к писателю всех, кто не разделял основы их учения. Толстой умер без покаяния. Даже Софьи Андреевны под благовидным предлогом не разрешали свидания с умирающим мужем.

Давний антагонист Толстого И. С. Тургенев в повести «Переписка» говорил: «Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр её, потом отделяются, отчуждаются от неё и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас и из нас же самих образуется... как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...» [10, с. 168].

Окружившее Толстого облако ему прорвать не удалось. В ответ на хлопоты толстовцев умирающий произнес: «Нет, нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

Литература

1. Булгаков С. Н. На смерть Л. Н. Толстого // О религии Льва Толстого. Сборник второй. М., 1912.
2. Вопросы философии и психологии. Книга IV (79). Сентябрь-октябрь 1905.
3. Дневники С. А. Толстой. 1860–1891. М., 1928.
4. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М., 1978.
5. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1913.
6. Толстая С. А. Дневники. Т. 1. М., 1978. С. 159.
7. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 13. М., 1983.
8. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 8. М., 1981.
9. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 9. М., 1982.
10. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Соч. Т. 6. М.; Л., 1963.